НАТАЛИ ШЕРЛ



Цена Выбора

Когда заканчивается вечность

Натали Шерл

Цена выбора. Когда заканчивается вечность

«Автор»
2026

Шерл Н.

Цена выбора. Когда заканчивается вечность / Н. Шерл — «Автор», 2026

Говорят, в 1880 году один петербургский художник продал душу, чтобы его картина светилась изнутри. Наталья отдала гораздо больше.Она выбрала надежду на встречу, а не себя, и заплатила за это бессмертием, одиночеством и сто сорока годами ожидания. С тех пор сменились правители, рушились империи, гремели войны. Наталья подсказывала учёным нужную формулу, а актёрам нужную паузу, но сама оставалась несчастной. Ведь её гвардеец давно стал строчкой в архивных документах, а тот, кто носит его душу, даже не помнит её имени.Сердце слепо, но жизнь терпелива. В современном Санкт-Петербурге Наталья должна сделать выбор заново. Хватит ли у неё смелости отпустить прошлое, разрушить сценарий демиурга и впервые в жизни выбрать себя вопреки любому шторму?«Нам не забыть друг о друге. Я жду тебя в Санкт-Петербурге...»

© Шерл Н., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Изумрудный узел, часть 1 5
Глава 1. Изумрудный узел, часть 2 10
Конец ознакомительного фрагмента. 19

Натали Шерл
Цена выбора. Когда заканчивается вечность

Глава 1. Изумрудный узел, часть 1

Нам не забыть друг о друге,

Я жду тебя в Санкт-Петербурге...

Сто сорок лет прошло с тех пор, как ты произнёс эту фразу. Всё это время я засыпала в мире, где тебя не было, и упрямо шептала эти слова в темноте. Тогда, в Петербурге, нас разлучил несчастный случай. Сегодня я сама отпустила тебя. И теперь не знаю, спасла я нашу любовь или потеряла её навсегда. Я лишь надеюсь, что ты вспомнишь обещание, данное мне почти полтора века назад.

А пока...

1.1 Луна на Большой Морской

Осень 1880 года в Петербурге пахла мокрым сукном, ледяным ветром с Невы и ощущением грядущей катастрофы. В тот вечер город казался унылым, а под ногами хлюпала жидкая грязь. Но стоило тяжёлой дубовой двери на Большой Морской закрыться за моей спиной, как промозглый мир исчез.

А ведь четверть часа назад эта самая Большая Морская напоминала разворошённый муравейник. Весь Петербург сошёл с ума по выставке одной картины. Наша карета застряла в потоке экипажей ещё на подъезде, и до здания Общества поощрения художников нам пришлось идти пешком сквозь толпу.

Давка на входе стояла невообразимая: знатные дамы в соболях прокладывали себе дорогу локтями, студенты штурмовали двери, жандармы едва сдерживали натиск. Шептались, будто художник продал душу за секрет светящихся красок, а скептики клялись, что за холстом просто спрятали керосиновую лампу.

Отец не жалел денег на мои «причуды», будь то заграничные реактивы или редкие научные издания, однако я знала, что эти билеты стоили ему немалых связей. Александра Никитична поправляла сбитую в толпе муфту и ворчала, что ни одно полотно не стоит такой суматохи, а я нетерпеливо сжималапригласительный: мне хотелось разгадать этот оптический обман и найти рациональное объяснение всеобщему безумию.

Мы миновали вестибюль, залитый газовым светом, поднялись по парадной лестнице и увязли в новой очереди перед дверями зала. Стоило швейцару приоткрыть тяжёлую портьеру, как свет и звуки остались позади.

Осталась только мгла, густая и бархатистая, как летнее небо над степью. А потом в глубине чёрной комнаты появилось что-то похожее на окно в другую реальность. Днепр в лунную ночь. Гладь реки дрожала, отражая свет так, словно сама луна спустилась в зал и замерла за рамой, прямо над водой. Даже с закрытыми глазами изумрудное сияние проступало сквозь веки. В этом зеленоватом свете было что-то пугающее и родное одновременно — тоска по покою, который не принадлежит человеку. В зале стояла такая тишина, какую встретишь разве что в заброшенном храме, и только прерывистое дыхание посетителей нарушало её, когда стоящий рядом черноволосый офицер сквозь зубы процедил:

— Он точно продал душу дьяволу!

Я вздрогнула, но взгляда от картины не оторвала: она продолжала меня гипнотизировать.

Он оказался молод. Мундир сидел на нём так, будто его перешивали каждую неделю, тугой воротник заставлял держать голову высоко, а тёмные, как вороново крыло, волосы не желали лежать: прядь, которую он нетерпеливо отбросил со лба, тут же упала обратно. Карие глаза ловили зеленоватое сияние днепровской луны. Мне казалось, что он не замечает моего интереса. Несколько мгновений он, прищурившись, разглядывал картину, затем резко развернулся и, чеканя шаг, вышел из зала.

Я осталась на месте и ещё какое-то время смотрела на свечение. Толпа стала расходиться. В холле все озирались и молчали: никто не был готов к такому резкому переходу от изумрудного сна к серым будням. Мой взгляд невольно искал черноволосого офицера, произнёсшего странную фразу в темноте.

Но его здесь не было. Будто он сам растворился в призрачном свете днепровской луны.

— Наталья, очнитесь! — Александра Никитична бесцеремонно потянула меня за рукав к выходу. — Пойдёмте скорее к карете, пока в этой толпе нам все платья не измяли.

Сырой воздух Большой Морской ударил в лицо. Дверца кареты захлопнулась, отрезая уличный гул. Всю дорогу до дома я молчала, но перед глазами стоял изумрудный свет Днепра и блеск этих чужих глаз.

1.2 Изнанка шедевра, мастерская Куинджи

Выставку, потрясшую Петербург, спасла чернильница. Всё началось месяцем раньше: Господин С. находился на грани нервного истощения. Последнюю неделю он работал над Архипом как проклятый. Чего он только не перепробовал: подсовывал художнику «правильные» сны с изумрудным свечением, заставлял бродячих музыкантов под окнами мастерской играть те самые щемящие ноты, которые должны были пробудить нужный оттенок зелёного на холсте.

А вчера пошел на самые отчаянные меры — подстроил так, чтобы зайчик от медного таза упал ровно на набросок картины, подсказывая угол преломления света. И что же этот Архип? Архип почесал затылок, зевнул и... занавесил окно старой тряпкой.

— Слепит, зараза, — пробурчал Художник, возвращаясь к рисованию унылых, серых скал.

Господин С. бессильно присел на пыльный сундук в углу мастерской.

«Они безнадёжны, — думал он, устало потирая виски и запрокидывая голову к потолку, словно ища, с кем разделить горечь. — Я шлю им небесную музыку, а они слышат только шум в ушах и капают отвар ромашки. Я даю им ключ от вечности, а они подкладывают его под ножку расшатанного стола».

Миссия была под угрозой. Луна на картине упрямо оставалась похожей на серый кусок засохшего сыра, и Художник терял время.

В тот момент в мастерскую зашёл помощник — мальчишка-посыльный с горшком дешёвого лака и свёртком сомнительной снеди. Он споткнулся о брошенную кисть, картинно взмахнул руками и, пытаясь удержать равновесие, опрокинул чернильницу прямо на палитру Куинджи, где тот усердно смешивал охру с белилами. Чёрный поток хлынул в светлую краску, соединяясь с разлитым маслом и каким-то едким составом для чистки кистей.

— Ах ты, стервец! — взревел Архип, хватая тряпку и замахиваясь над головой мальчишки.

Но Господин С. вдруг замер. Он увидел, как в этой грязной луже под воздействием химикатов и случая родилось оно — глубокое, фосфоресцирующее «ничто», которое сияло ярче любого божественного откровения.

Куинджи тоже умолк. Грязная ветошь выпала из его рук. Он смотрел на это чернильное пятно как завороженный.

— Постой... — едва слышно прошептал мастер. — Это же... это же истинный цвет лунной ночи! Боги, как же я раньше не додумался добавить туда обычной копоти?!

Господин С. медленно поднялся с сундука. Он перевёл взгляд с перепуганного, сжавшегося в комок мальчишки на свои тонкие, «мистические» пальцы — те самые, которыми он столько веков плёл, менял и ломал человеческие судьбы.

— Серьёзно? — тихо спросил он у пустоты мастерской. — Чернильница? Весь мой грандиозный план с музыкальным резонансом и снами о Нирване проиграл кривоногому мальчишке и дешёвой саже?

Он горько усмехнулся, аккуратно отряхнул пыль с полосатых брюк и поправил лацкан своего идеального сюртука.

«Ладно, я понял намек. В этом городе магия работает только через чей-то разбитый нос или пролитый чай... Но Господи, как же мне нужен помощник».

Затем он посмотрел на Художника, самозабвенно пишущего картину.

«Ты заставил тьму сиять, Архип. Но помни: этот свет принадлежит тебе не до конца. Ты взял его в долг у вечности», — мысленно произнёс Господин С., растворяясь в густых тенях мастерской. «Теперь толпа будет искать в твоих красках скрытый фосфор или следы сделки с дьяволом. Они никогда не поймут, что твоя истинная ноша — оглушительная тишина, в которой ты отныне останешься один. Ты заложник собственного шедевра. Твоё бессмертие начнётся тогда, когда ты навсегда разучишься быть просто счастливым человеком».

1.3 Случайный компаньон

В Ботаническом саду было душно, как в бане, пахло мокрой землёй и прелыми листьями. Господин С. сидел на верхней галерее, свесив ноги между прутьев чугунной решётки. Некогда идеальный фрак выглядел помятым и покрылся пылью, а в глазах существа, чей паспорт выдан вечностью, застыла тоска. Три тысячи лет без отпуска — это не шутки.

Внизу, среди исполинских вееров ливистонских пальм, копошился старый профессор фон Шмидт. Выглядел он жалко: потёртый сюртук, дрожащие руки, сухие пальцы. Старик отчаянно пытался спасти свой «главный труд жизни» — редчайшую орхидею, которая должна была расцвести сегодня, чтобы завтра покорить комиссию и сохранить саду финансирование. Но бутон замерзал. Печи оранжереи работали на пределе, но ледяной сквозняк из невидимой трещины в стеклянном куполе бил точно в хрупкий стебель.

— Всего лишь... перенаправить тепло, — едва слышно шептал Господин С. сверху, надеясь, что у этого человека науки наконец включится логика. Его вековой голос шуршал, точно сухие страницы алхимических трактатов. Но старый профессор, у которого на кону стояла вся его земная жизнь, продолжал стоять на коленях перед погибающим цветком. Он беззвучно плакал, ослеплённый собственным горем, и упрямо не замечал, что спасение находится на расстоянии вытянутой руки.

Господин С. не смог больше этого выносить. Он поднял руку, собираясь совершить привычный, выверенный веками жест — едва заметное перераспределение воздушных потоков.

Но в то же мгновение реальность поплыла. Усталость, копившаяся столетиями, на долю секунды отключила его волю. Пальцы вместо того, чтобы ласково направить воздух, сжались. Пространство над орхидеей беззвучно треснуло. Из этой раны в ткани мироздания хлынуло нечто, чему не было названия в земной физике: сгусток первородной энергии, мокрый туман, дрожащий призрачным изумрудным сиянием.

Так появился Светоч.

Господин С. его не заметил. Оглушённый собственной неудачей, он поспешно покинул оранжерею, чтобы уединиться и вернуть былую холодную уверенность.

А внизу, после его стремительного ухода, оранжерея погрузилась в звенящую, ошеломлённую тишину. Ледяной сквозняк из невидимой трещины в куполе резко наткнулся на призрачную стену. Воздух вокруг замерзающего растения стал густым и тёплым, как пар над чашкой свежезаваренного горного чая. Рана в пространстве медленно стягивалась, но перед тем, как исчезнуть совсем, она выдохнула в зал крохи вечности, случайно просыпавшиеся

с чугунной галереи. Тёмные, почти чёрные лепестки орхидеи, уже тронутые мертвенным инеем, содрогнулись. По хрупкому стеблю вверх побежала тонкая золотистая жилка. Лепестки вспыхнули глубоким чернильным оттенком, отливая шёлком, а из самой сердцевины чашечки вырвался сухой, сладкий запах лета. Профессор фон Шмидт замер, боясь дышать. Слёзы высохли на его морщинистых щеках. В удушливой тишине Ботанического сада редчайшая орхидея сияла первозданной силой. Чудо произошло вопреки всем законам науки — просто потому, что в её строгие чертежи вмешался великий Случай.

Старик поднял голову к пустой верхней галерее, но там уже никого не было. Только в воздухе всё ещё пахло озоном и едва уловимым ароматом дикого горного чая — призрачным следом чужого присутствия.

А вот самого Господина С. на выходе из оранжереи настигло наказание за сиюминутную слабость: в левом кармане возникло ощущение, будто туда положили раскалённый свиток. Он попробовал достать предмет из кармана, но пальцы прошли сквозь пустоту. Воздух вокруг руки был не просто горячим — он стал материальным.

Материальный воздух в кармане качнулся, выталкивая пальцы наружу, и глухо, обиженно звякнул, точно столкнулись два хрустальных бокала. Раскалённый свиток начал остывать, впитывая остатки оранжерейного тумана. Господин С. осторожно опустил руку в карман снова. На этот раз пальцы нащупали нечто мягкое, тёплое и невесомое, словно он поймал живое грозовое облачко. Когда он вынул ладонь, на ней покоился светящийся золотом сгусток. Наглый избыток бытия, взломавший ткань реальности, ласково свернулся клубком и тихонько чихнул. Золотистое сияние дрогнуло и перелилось испуганным багровым: новорождённое чудо ощутило ледяной сквозняк и чужой, пугающий мир.

1.4 Фиалки, мороженое и химия

Тот декабрь выдался вызывающе солнечным, совсем не петербургским. Я сидела за своим любимым столиком у окна в уютной кондитерской Вольфа и Беранже.

Мир вокруг казался залитым золотым светом. В этом сиянии была видна каждая пылинка, и мне чудилось, будто я вижу саму ткань мироздания. Я ела фиалковое мороженое и, глядя на солнечный луч, впервые чувствовала, что реальность — лишь тонкая декорация, которую вот-вот прожжёт этот неестественный блеск.

Книга Менделеева и тающее мороженое были единственным якорем, связывающим меня с реальностью, которую я всё ещё не могла назвать своей. В кондитерской стоял уютный гул: переговаривались посетители, да Александра Никитична вполголоса распекала официанта за недостаточно накрахмаленные салфетки. Колокольчик над дверью звякнул, впуская в натопленный, пахнущий ванилью зал морозную свежесть Невского.

В кондитерскую порывисто вошёл офицер. Я не шелохнулась, но по тому, как сгустился воздух, поняла: он смотрит прямо на меня. Не дожидаясь лакея и минуя свободные столики у входа, он шёл к нашему окну, принося с собой шлейф морозной хвои и дорогого табака.

Александра Никитична, приставленная ко мне не столько для компании, сколько в качестве живого щита между моим приданым и петербургскими повесами, издала звук, похожий на скрип нафталина.

Она уже набрала в грудь воздуха, чтобы защитить мою честь и возмутиться сквозняком и бесцеремонностью военного. Но офицер обезоружил её почтительным поклоном и, не замедляя шага, заглянул в мою книгу.

— Осторожнее, сударыня, — сказал он, и его низкий голос заставил меня поднять глаза. — На девяносто восьмой странице Менделеев слишком полагается на интуицию. Галлий он описал ещё до того, как его нашли. Впрочем... фиалковое мороженое и химия. Такое сочетание достойно либо гения, либо революции.

Говорил он по-своему: лёгкое картавое «р» катилось у него во рту, как горошина, и он нисколько этого не стеснялся. Напротив, произносил слова с вызовом, как человек, привыкший командовать и не сомневающийся, что его услышат.

— Позвольте, сударь! — Александра Никитична подпрыгнула, и ложечка в её чашке жалобно звякнула. — О каких таких революциях вы изволите толковать в приличной кондитерской? Наташенька, немедленно убирайте книгу! От этих новомодных «элементов» у молодых господ разум мутится. Мы здесь десерт кушаем, а не государственные устои расшатываем!

Я прищурилась. В глубине моих зрачков, отражавших золото декабрьского солнца, промелькнуло и погасло то, чего я прежде в себе не знала: холодное, древнее спокойствие и полная уверенность.

— Менделеев не полагается на интуицию, сударь, — спокойно сказала я, закрывая книгу. — Он предсказал плотность галлия: пять и девять. Француз сперва получил четыре и семь, а потом очистил металл и согласился. Интуиция у химиков называется законом, когда оказывается права. А что до сочетания, — я взяла ложечку, — выбирать между проверенными догмами и фиалками среди зимы каждый волен сам.

Незнакомец странно усмехнулся, и в глубине его глаз на миг блеснул тот самый фосфорический свет, который Куинджи разлил по своему полотну.

— Выбирать, — повторил он, словно пробуя слово на вкус. — Выбирать между правильным и живым, сударыня, — вот где начинается настоящая химия. На выставке вы искали не объяснение, а то, чему его нет, и боялись это найти. Вы слишком ярки для этого декабря и этого города. Боюсь, вы рискуете привлечь не того дьявола.

Пока я подбирала ответ, он развернулся и вышел, будто его здесь никогда и не было. Его силуэт на мгновение слился с золотом Невского и исчез.

— Наташа! Наталья! Ты меня слышишь? — встревоженный голос Александры Никитичны ворвался в моё сознание. — Ты знаешь этого сумасшедшего? Кто это такой? Мы уходим, немедленно!

Я продолжала сидеть в оцепенении, совершенно не реагируя на испуганный лепет компаньонки.

Глава 1. Изумрудный узел, часть 2

1.5 Три адреса

Мы вернулись домой, когда Петербург уже утопал в синих сумерках. Едва экипаж остановился, Александра Никитична начала привычное: «Ох, Натали, ну и холодина! Весь нос отморозить желаете!» — и засуетилась вокруг, пытаясь подхватить меня под локоть, словно я была хрупкой фарфоровой куклой.

Внутри нашего дома пахло чистотой, натёртым воском и папиросами отца. Здесь не терпели ни позолоты, ни лепнины, всё было просто: тёмное дерево, ковры, глушившие шаги, и много-много книг. В высоком зеркале я мельком увидела своё отражение — румяная, со сбившейся прядью.

— Папенька у себя? — спросила я горничную, стараясь, чтобы голос не выдал странного возбуждения после разговора в кондитерской. Я на цыпочках подошла к кабинету и постучала.

— Папа, можно?

— Входи, Наташа, входи, — отозвался отец.

Густой и тёплый, как старый коньяк, его голос мгновенно успокаивал. В кабинете пахло табаком и старой кожей. Лампа под зелёным абажуром бросала круг света на стол, доверху заваленный чертежами и счетами. Папа́ (мы звали его так, на французский манер, с ударением на последнем слоге) выглядел усталым, но, увидев меня, тут же отложил перо. Я присела на ручку его кресла, как делала это в детстве, когда он читал мне сказки. Он взял мою руку, ту самую, где на пальце осталось пятнышко от утреннего опыта, и легонько коснулся его.

— Опять воевала с серебром? — тихо спросил он, хитро прищурив свои бездонные карие глаза.

— Оно не хотело сдаваться, папа, но я его переспорила.

Отец вздохнул без осуждения. Он прекрасно знал, что и маменька, и Александра Никитична в ужасе от моих алхимических занятий, но неизменно оставался на моей стороне.

— Там, на секретаре, посмотри, — он кивнул в сторону окна. — Привезли из порта, велел сразу достать сюда, чтобы твоя нянька не успела спрятать на чердаке.

Я вскочила и почти подбежала к секретарю. На нём лежал небольшой ящик из светлого дерева. Я осторожно открыла крышку. Внутри, в мягкой стружке, лежали две новенькие колбы и тоненькая стеклянная трубка для отвода газа. Такие чистые, такие прозрачные, что казались застывшим воздухом.

— Это же... из Богемии? — выдохнула я, боясь прикоснуться к этому сокровищу.

— Из самой Богемии, — папа подошёл сзади и положил мне на плечи руки. — Дмитрий Иванович говорил мне, что без хорошего стекла наука — гадание на кофейной гуще. Пользуйся, Наташа, только береги себя.

Я обняла его, вдыхая родной запах отца. В этот момент никого в Петербурге не было счастливее меня: у меня были моя тайна, моё стекло и отец, который понимал меня без слов.

— Спасибо, папа, — прошептала я.

— Беги уж, егоза, — он легонько поцеловал меня в макушку. — Беги, пока маменька не пришла пытать меня, почему я балую единственную дочь вместо того, чтобы подбирать ей жениха.

Я улыбнулась ему и вышла из кабинета, прижимая к себе заветный ящик.

***

Владимир решил не брать извозчика: лишних четвертаков в его карманах не водилось, да и морозный воздух был нужен, чтобы остудить наваждение после странного разговора в кондитерской. Он шёл пешком, кутаясь в суконную шинель, и ледяной ветер с Мойки колол лицо иглами.

Город в декабре казался огромным чертежом, выполненным тушью по белому пергаменту. Путь лежал в Коломну, в доходный дом, где он снимал три комнаты на втором этаже. Это не были казённые стены казарм — здесь всё напоминало о доме в далёкой губернии.

Лестницу в своём доме он знал наизусть: двадцать три ступеньки, и на каждой Владимир что-нибудь насвистывал. Выходил всегда Преображенский марш, и всегда фальшиво: на семнадцатой ступеньке он неизменно срывался в другую тональность, а сверху, из прихожей, ему в ответ ворчал Степан: «Опять, барин, по ушам прошлись».

В комнатах было прохладно, но опрятный старый вестовой Степан уже зажёг свечи и поставил на стол письмо, пахнущее сухой мятой. Матушка прислала кредитные деньги — небольшую сумму, выкроенную из скромных доходов имения, чтобы *«Володенька мог позволить себе приличный экипаж и новые перчатки». В конце письма матушка вскользь сообщала, что троюродный дядя, старый граф К., совсем плох и спрашивал о племяннике.*

Деньги от матушки он, как всегда, разделил: половину спрятал в жестяную коробку из-под монпансье, а вторую рассовал по карманам вместе с кусками сахара для коня, потому что не мог пройти мимо конюшни с пустыми руками. Часы на его руке шли всегда на семь минут вперёд: так Владимир надеялся обмануть самого себя. Не выходило: он знал про эти семь минут и опаздывал ровно на столько же.

Владимир сел к массивному дубовому столу и стиснул письмо. Накануне выставки его взвод три ночи подряд стоял в оцеплении: в Петербурге караулили нигилистов, и гвардию заставляли проверять чуть ли не каждый подвал. Он помнил утреннюю усталость, гарь от патронов и жижу под сапогами. А потом зашёл на Большую Морскую, увидел эту чёртову картину Куинджи, и внутри что-то изменилось.

Владимир вырос в деревне, сотни раз ходил в ночное и прекрасно знал, как выглядит луна над рекой. Она серая и холодная. Луна Куинджи была неправильной, мёртвой, фосфорной. Он не раз слышал поверье: если красота заставляет сердце замереть от ужаса, значит, рядом стоит Тот, чьё имя не называют вслух. Именно поэтому он тогда зло бросил слова про дьявола.

А сегодня в кондитерской эта девица смотрела на него точно таким же холодным, оценивающим взглядом. Ела фиалковое мороженое, читала Менделеева и рассуждала о плотности галлия как профессор.

Он прихлёбывал крепкий чай и смотрел на пламя свечи. Его скромного достатка и жалованья вряд ли хватило бы, чтобы войти в её мир золочёных карет и бальных платьев. Но внутри уже закипала та самая «химическая реакция», которую нельзя было остановить, и в голове назревал план по завоеванию этой белокурой девушки.

***

Обитель Господина С. находилась не где-то, а между. В старом районе города был антикварный магазин с огромной витриной. Если подойти к ней ровно без восемнадцати минут шесть, когда солнце падает под углом тридцать градусов, в отражении стекла можно было увидеть дверь, которой нет на самом деле.

Она не имела твёрдых стен. Вместо кирпича и камня здесь были натянуты полотна прозрачного шёлка, тонкого, как подкрылки стрекозы. Ткань уходила в высоту, образуя лабиринт из живых страниц, на которых сама собой ткалась история. Иглы работали без остановки: тонкий, едва слышный стрекот, похожий на работу старого телеграфа или на торопливое щёлканье, с которым мысли сменяют друг друга в перегруженной голове. Серебряные нити ложились на шёлк, вырисовывая сухую геометрию чьей-то судьбы. Шаг влево. Взгляд в витрину. Случайное столкновение. Но в самом изгибе стежка проступала пугающая чёткость. Это был не хаос. Это было вычисление.

Господин С. провёл ладонью вдоль полотна. Под его кожей нити на мгновение теряли объём, превращаясь в плоские символы — жёсткую логику, маскирующуюся под судьбу. Он

сам когда-то придумал эту сеть и знал: если правильно рассчитать натяжение каждой нити, мир никогда не порвётся и не остановится.

Светоч внимательно следил за действиями Господина С., словно тоже был посвящён во всю тайную логику мира.

Это был не первый его урок. Господин С. учил, как проверяют формулу: задавая вопросы вслух и тут же отвечая на них сам. «Что ты видишь? Нить. Нет, ты видишь причину, которая ещё не стала следствием». Светоч молчал, как всегда, но от старания его свет стал чуть тусклее, как у лампы, которой слишком туго прикрутили фитиль.

Пока Господин С. объяснял, как держится натяжение, Светоч заметил, что игла, бегущая по шёлку, блестит. Он осторожно приблизился, свет его стал любопытно-жёлтым, и он попытался поймать иглу на лету, как котёнок ловит солнечный зайчик. Игла увернулась. Светоч обиженно потускнел, а потом снова загорелся и стал подкрадываться с другой стороны.

— Не трогай, — спокойно сказал Господин С., не оборачиваясь, хотя уголок его губ дрогнул. — Эта игла сейчас шьёт чью-то женитьбу.

Светоч тут же отдёрнулся и сделал вид, что никогда в жизни не интересовался иглами.

— Вот, посмотри на эти линии: это маршруты Рутины, — указал Господин С. на синие нити, тугие и прямые. Они связывали жилые дома с конторами. — А вот тут скрипач «ходит по кругу». Видишь, нить между консерваторией и лавкой на Садовой превратилась в удавку? А здесь жёлтые точки: адвокат «замер». Жёлтый цвет — это ожидание.

На карте это выглядело как затор в системе: энергия скапливается в одной точке, не уходя в действие. Чёрные разрывы. Там, где ещё недавно тянулась живая нить переписки инженера, теперь зияла пустота. Господин С. провёл пальцем по гладкой материи.

— Нить потеряна, — тихо сказал Господин С. и повернулся к Светочу:

— Смотри, завтра наш маршрут лежит сюда. Вот здесь, где сходятся Невский и Караванная, пересекаются три критические ошибки: скрипач, который окончательно сдался, адвокат, тщетно ищущий знак, и курьер, везущий роковой отказ инженеру. Нам необходимо как-то распутать этот узел и решить все три задачи.

— С чего бы ты начал? — спросил Господин С., не оборачиваясь, и сам же ответил: — С курьера, конечно. Остановить, и дело с концом.

Светоч качнулся, потеплел, и серебряная нить под его взглядом едва заметно порозовела.

— Нельзя. Ты не двигаешь людей, ты двигаешь случай. Курьер не должен узнать, что его остановили. Он должен вспомнить, что забыл перчатки. Да, он опоздает всего на три минуты, но именно на те, которые нам нужны.

Господин С. коснулся нити, и розоватый оттенок исчез.

— И запомни: нить не должна светиться. Если в расчёт попадает тепло, это уже не вычисление, а жалость. А жалость — самая дорогая погрешность.

1.6 Снежный шифр

Три дня спустя, когда петербургское небо окончательно слилось с серым льдом Мойки, я всё-таки уговорила Александру Никитичну пойти снова в Вольф и Беранже. Мне не было покоя: казалось, что если я не попаду за тот столик, то упущу что-то важное. В зале всё оставалось по-старому: столики были заняты, звенели ложечки, пахло корицей.

Официант с поклоном вернул мне книгу, забытую три дня назад. Я открыла её и вдруг увидела между страниц, прямо на схеме кристаллической решётки углерода, засушенные фиалки. Их нежные очертания налились глубокой чернильной темнотой и казались почти прозрачными, как тончайший шёлк. От них исходил еле уловимый, сухой и сладкий запах лета, будто обещавший счастье.

Под стеблем, прижатым тяжестью страниц, лежал крошечный листок бумаги: «*Материя неизменна, но духу нужна смелость, чтобы сменить форму. Жду вас первого января, ровно в*

два часа пополудни, у музыкальной беседки Юсуповского сада». В моих глазах потемнело. Я захлопнула книгу.

***

Первого января мы шли по аллее, и снег под ногами не скрипел, а звучно напевал. Александра Никитична отвлеклась на покупку горячего сбитня, и толпа увлекла меня прочь от неё. Музыкальная беседка вдруг возникла из тумана, будто сказочный ледяной замок.

Он стоял у ажурной ротонды, по-мальчишески ловя ладонью падающие снежинки. Заметив меня, он опустил руку. На его лице расцвела улыбка — такая светлая, что все сумерки Петербурга, казалось, отступили.

— Простите мне мою дерзость, — робко проговорил он. — Я так и не представился — Владимир. Просто Владимир, который не смог забыть свечение Днепра в ваших глазах и вашу смелость.

Своё имя он произнёс чуть картаво: «р» вышло мягким, перекатистым, будто Владимир поймал его языком на лету. Он не смутился, смотрел прямо и словно ждал, не засмеюсь ли я. Я не засмеялась и выдержала его испытывающий взгляд.

После его слов тугой комок страха, сковавший меня перед тайным свиданием, начал таять, уступая место чему-то новому.

— Наталья, — выдохнула я в морозный воздух.

Снег продолжал засыпать дорожки, стирая следы прохожих, и в этой белой тишине голос Владимира звучал так просто.

— Наталья, послушайте. У нас в ведомстве, в старом цоколе на Фонтанке, пылится архив покойного профессора химии, принятый по описи. Там сотни папок с записями о минеральных красителях, составах для стекла... Начальство и слушать о них не хочет, скука, мол. А я сегодня... — Неожиданно его голос охрип. — Я вызвался привести их в порядок.

Я удивлённо приподняла край вуали, всматриваясь в его лицо.

— Ваша матушка ведь попечительница курсов? — продолжил гвардеец. — Скажите ей, что архив передают в дар дамскому комитету для изучения ремёсел. Вы сможете приезжать туда, если захотите, дважды в неделю — якобы для описи ценного имущества...

— Владимир, но нянька... Она же будет стоять над душой, как церковный сторож, — в моём голосе проскользнула тень разочарования.

Владимир подался вперёд и заговорил быстро, почти шёпотом:

— Сударыня, если вы дадите согласие... Я всё продумал. Архив находится в цоколе: там две комнаты. В первой — тяжёлые шкафы и каморка смотрителя, а за ней — лаборатория с вытяжкой и окном в старый яблоневый сад. Няньке мы поставим самое мягкое кресло у печи в первой комнате. Скажем, что от химических испарений в лаборатории у неё разболится голова или, упаси Господь, испортится цвет лица.

Я невольно прыснула, представив мину Александры Никитичны при упоминании об этих ужасных испарениях.

— Она будет сидеть там, — продолжал Владимир, — за закрытой дверью, а мы... Мы будем по другую сторону. Там будет только запах старой бумаги, сурьма и древние записи алхимика.

Снег на крыше беседки зашуршал, словно отсчитывая последние мгновения нашей встречи и возвращая в реальность.

— Идите, — шепнула я.

Владимир отступил от меня, ведь из тумана на аллее уже показалась встревоженная Александра Никитична.

— Буду ждать вас во вторник, — успел добавить он напоследок.

Я смогла только кивнуть.

1.7 Оттепель

Сейчас я понимаю, что та февральская оттепель оказалась лишь обманом природы или коротким подарком судьбы. Но наше безумие оставалось тогда единственной истиной.

Александра Никитична жаловалась на тяжесть в ногах и засыпала в первой комнате, убаюканная жаром изразцовой печи и моим монотонным чтением. Мы с Владимиром ждали этого момента, как заговорщики ждут сигнала к восстанию. Дверь в лабораторию отсекала нас от мира, где я считалась послушной дочерью знатного чиновника, а он — верным слугой престола. Там, за штативами и пыльными шкафами с фолиантами, притаился наш мир. Это повторялось вновь и вновь — я не могла отказаться от этих тайных свиданий и жила только в эти часы.

Он даже не представлял, какой ценой мне удалось выбить у маменьки разрешение на эти поездки. Это было не чудо, а сделка, и заключить её помог отец.

Тот вечер дома начался с настоящей грозы. Маменька сидела в малой гостиной, окружённая коробками с новыми шляпками от мадам Бризан, и лицо её выражало крайнюю степень мученичества. Когда я как можно небрежнее заикнулась о том, что профессор Менделеев просит наш Дамский комитет взять под опеку архив красителей на Фонтанке, она в ярости швырнула кружевной платок на столик.

— Наталья! Опомнись! — её голос звенел от негодования. — Ты — девица на выданье! Твоё имя должно звучать в великосветских салонах, а не в казённых подвалах. Какая химия? Какие ремесла? Ты позоришь фамилию! Княгиня Тверская и без того косо смотрит на твои тетради. Мой ответ — нет, нет и нет. Завтра же я запру твой секретер, а эти новомодные богемские колбы велю выбросить в Мойку!

Она была непреклонна, и мои аргументы разбивались о стену светских приличий. Я уже готова была расплакаться от бессилия, как вдруг в гостиную вошёл папа, на ходу раскуривая папиросу. Поймав мой отчаянный взгляд, он тяжело вздохнул, подошёл к маменьке и мягко положил ладонь на её плечо.

— Душа моя, не руби с плеча, — весомо произнёс он, и его густой голос подействовал на мать как успокоительные капли. — Менделеев прав, порядок в бумагах — это дело государственной важности. Давай найдем решение, которое устроит всех. Наталья получит свой архив, но взамен пойдет на уступку тебе. Правда же, Наташа?

Маменька недоверчиво прищурилась, а папа повернулся ко мне. В его карих глазах читалось сочувствие, но тон не терпел возражений:

— Ты получишь разрешение работать на Фонтанке дважды в неделю. Но взамен, Наталья, ты даёшь матери слово: отныне ты безропотно посещаешь с ней все рауты, званые ужины и балы, которые она сочтет нужными. Ты будешь покорно ходить на бесконечные посиделки к маменькиным кузинам. И самое главное — ты будешь молчать про химию и изображать барышню, увлечённую исключительно фасонами платьев. Идёт?

Это был жёсткий компромисс. Но выбора у меня не было.

— Хорошо, папа. Я согласна, — тихо ответила я.

Маменька победно улыбнулась: строптивую дочь удалось вернуть в рамки этикета.

Если бы она только знала, какими «испарениями» и какой запретной страстью я дышала на Фонтанке, пока изображала послушную куклу на её глазах!

Каждая наша встреча на Фонтанке превращалась в жадное узнавание друг друга. Я до сих пор помню принесённый с мороза запах его шинели, который мгновенно смешивался с едким ароматом лаборатории. Мы не могли наговориться, точно всегда знали друг друга, но ещё больше не могли насмотреться.

Время, проведённое в этой комнате, было моей настоящей жизнью, а всё, что происходило между встречами — обеды у тётушек, примерки у мадам Бризан, пустые разговоры о ценах на овёс, грядущих балах и нарядах, — казалось лишь затянувшимся антрактом.

В тот четверг Владимир опоздал на сорок минут, как опаздывал почти всегда. Объяснение у него каждый раз было новое: то лошадь потеряла подкову, то начальство задержало с

рапортом, то на Невском перевернулся воз с капустой, и он, как человек долга, помогал её собирать. Я перестала верить в капусту ещё в январе, но слушала с удовольствием.

Александра Никитична к тому времени мирно посапывала в первой комнате, привалившись к тёплым изразцам. На моём столе стояла богемская колба, вымытая до такой чистоты, что в ней дрожали окна. Я хотела посеребрить её изнутри: смешать нашатырный раствор нитрата серебра с виноградным сахаром и подождать, пока металл сам осядет на стекле.

— Это алхимия? — Владимир склонился над колбой и откинул со лба упрямую прядь. Он делал так всякий раз, когда ему было не по себе, и всякий раз прядь возвращалась обратно.

— Это Либих. Тридцать пятый год, — ответила я. — Ничего не трогайте, пожалуйста.

Он, разумеется, потрогал. Взял склянку с аммиаком, понюхал, поморщился и спросил, нельзя ли ускорить дело, если подогреть колбу над спиртовкой посильнее. Он был военный человек, и любая реакция казалась ему вопросом правильно выбранного темпа.

— Серебро не любит, когда его торопят, — сказала я. — А гремучее серебро не любит ещё сильнее. Если оставить этот осадок сохнуть, он взорвётся от прикосновения пера.

Владимир выпрямился и посмотрел на склянку с уважением, с каким смотрят на незнакомое орудие. Потом начал насвистывать. Это был Преображенский марш, и фальшивил он так сосредоточенно, что у меня дрогнула рука и несколько капель раствора упали на пальцы.

— Не вытирайте! — предупредил он. — Это же серебро, оно почернеет.

— Оно уже почернело.

Мы оба посмотрели на мои пальцы. Потом, не сговариваясь, на его: он успел ткнуть в колбу пером и теперь стоял с чёрным пятнышком на большом пальце, как мальчишка после чернильницы.

— Печать сообщников, — сказал Владимир. — Ваша маменька увидит и решит, что я вас отравил.

— А вам что скажут?

— Что в жертву науке принесены казённые перчатки.

Мы смеялись так, что Александра Никитична всхрапнула и перевернулась на другой бок. Я замерла, считая до двадцати. Владимир, затаив дыхание, считал вместе со мной, и на счёте «пятнадцать» мы снова не удержались.

Когда колба нагрелась ровно настолько, насколько следовало, серебро вдруг пошло по стеклу туманной плёнкой. Через минуту внутри вместо прозрачной пустоты висело ртутное небо. Я держала колбу двумя руками, и в её выпуклом боку отражались двое: растрёпанная девушка с чёрными пальцами и офицер, у которого прядь опять упала на лоб.

— Первое зеркало, которое видит нас вместе, — тихо сказал Владимир.

Я хотела ответить что-нибудь умное про коэффициент отражения. Не ответила. Он аккуратно взял у меня колбу, поставил её на стол и спрятал мою чёрную руку в свою, тоже чёрную, как прячут краденое.

Домой я ехала в перчатках и не снимала их даже за ужином. Маменька решила, что я простудилась.

Однажды, когда сумерки были особенно густыми, я прошептала:

— Мы крадём это время у Бога...

— Нет, — ответил он, прижимая меня к стеллажу так сильно, что корешки старых книг впивались мне в спину. — Мы забираем то, что Бог приготовил для нас.

Я не успела ответить. Его пальцы нашли пуговку на моём рукаве у запястья и расстегнули её так медленно, будто это был замок сейфа, а не перламутровый кружочек. Воздух в лаборатории стал густым, как в оранжерее: пахло аммиаком, старой бумагой, нагретым стеклом и им. Я слышала собственное дыхание и его, они сбивались друг с другом, как два маятника. «Наталья, я...» — начал он хрипло, и в эту секунду за стеной всхрапнула Александра Никитична и скрипнул стул. Мы замерли, как два школьника над разбитой вазой, а потом он тихо, почти

беззвучно рассмеялся мне в висок и застегнул пуговку обратно. Дома я обнаружила, что она попала не в ту петлю, и не стала это исправлять.

Несколько раз мы были на волосок от разоблачения. Условный сигнал придумал Владимир: стоило половицам в первой комнате скрипнуть под шагами Александры Никитичны, как он трижды стучал пробиркой о штатив, а я, не поднимая головы, начинала вслух диктовать формулу. Однажды она заглянула в дверь и застала нас в разных углах: я называла соли, а Владимир с самым честным лицом записывал их мелом на доске. «Какие вы у меня трудолюбивые», — умилилась она и ушла досыпать. Каждый такой раз делал следующую встречу острее. И когда в конце февраля небо над Петербургом налилось тяжёлым свинцом, я уже чувствовала: что бы ни случилось, я несу в себе его след. И даже если нас разделят, я узнаю его по жесту, по походке, по тому, как он откидывает со лба прядь.

1.8 Последний бал масленицы

Платить по счетам маменька начала в ту же неделю. В субботу перед Великим постом княгиня Тверская давала бал, и мне было велено явиться на него с лицом барышни, в голове у которой нет ничего, кроме лент. Мадам Бризан полдня ходила вокруг меня с булавками, а я стояла на скамеечке и про себя твердила таблицу растворимости, чтобы не закричать.

Особняк Тверских на Английской набережной издали казался кораблём, севшим на невскую мель и забывшим погасить огни. Окна трёх этажей пылали, в чёрном льду дрожали их отражения, а вдоль набережной двумя рядами стояли кареты. Кучера в тулупах притопывали и грели руки дыханием. У подъезда трещали факелы, лакеи в ливреях подавали дамам руку в белой перчатке, и шубы соскальзывали с плеч, как снег с крыши.

На лестнице, застеленной красным сукном, меня сразу ударил запах. В феврале, когда за окном лежал лёд, в кадках цвели азалии, гиацинты и камелии из оранжерей княгини, и воздух был густым от мёда, воска и тёплой пудры. Я машинально прикинула, что одна такая лестница стоит годового жалованья профессора. Наверху гостей встречала сама хозяйка, сухая дама с лорнетом. Каждому у неё находилось ровно одно слово и ровно один взгляд, оценивающий, как у ювелира.

А потом распахнулись двери в залу, и я забыла о жалованье профессора. Белое с золотом пространство вмещало двести человек и всё равно казалось тесным для собственного света. Три хрустальные люстры горели сотнями свечей: княгиня считала газ вульгарным. Зеркала от пола до потолка множили огни, и чудилось, что танцуют не двести пар, а тысяча. Паркет натёрли так, что в нём можно было смотреться, а с хор, где играл оркестр в красных мундирах, музыка падала в зал, как тёплый дождь.

Каждой барышне при входе вручили бальную книжечку с крошечным серебряным карандашом на шнурке. Кавалеры спешили записаться на вальс, польку, кадриль и мазурку. Больше двух танцев с одним считалось почти помолвкой, и маменьки следили за этим строже таможенников.

Вдоль стен на золочёных диванах, как судьи, сидели дамы постарше. Они почти не танцевали, зато видели всё: чей веер раскрылся слишком широко, чья перчатка расстегнулась, кто с кем говорил дольше положенного. Распорядитель, звонкий господин во фраке, выкликал фигуры по-французски, и весь зал послушно поворачивался, как один огромный механизм.

Весь Петербург ждал этого вечера целую неделю. Назавтра начинался пост, на сорок дней смолкали оркестры и закрывались театры, а княгиня Тверская пообещала к котильону сюрприз, и гостиные гадали, что же она придумала. Говорили о венском скрипаче, о живых птицах под потолком, о китайских фонариках. В городе, где в каждом доме шептались о бомбах, этот бал был вызовом, и оттого он делался только пышнее: пропустить его считалось дурным тоном, почти трусостью.

Я смотрела на всю эту красоту и не чувствовала ничего. Корсет был затянут так, что я дышала по счёту. Платье цвета речного льда, расшитое серебряной ниткой, весило как пуд

свинца, а перчатки на двадцати пуговках мешали даже держать веер. Голова кружилась от духов, воска и увядающих камелий. Я стояла посреди зала, как колба на чужой полке: красивая, прозрачная и совершенно ненужная. Вокруг смеялись, шептались и ловили взгляды, и всё это казалось мне хорошо сделанной декорацией, за которой нет ничего живого.

Княгиня оглядела меня с ног до головы и заметила маменьке, что в моих глазах «слишком много мысли для девицы». Маменька вспыхнула, и я наконец поняла, как дорого обошлась мне Фонтанка. Платой были не вечера, не выезды и не скука. Платой была я сама, упакованная в кружева и молчание.

Мне представили племянника княгини, румяного барона, который за четверть часа успел рассказать о борзых, о лошадях и о том, что учёные женщины портят цвет лица. Когда он снисходительно спросил, знаю ли я, что такое азот, я ответила: «Кажется, это что-то из аптеки». Он остался доволен. Горше этой лжи я в тот вечер не пробовала ничего, даже лимонада.

Владимир появился после первой кадрили. Парадный мундир, аксельбант, вежливое пустое лицо. Мы условились заранее, на Фонтанке, шёпотом, над ретортой: на людях мы чужие. Княгиня сама подвела его к маменьке, представив как образцового молодого человека из полка своего мужа. Он склонился над маменькиной рукой, потом поклонился мне: «Сударыня», — и не задержал на мне взгляд ни на секунду дольше приличного. Маменька осталась им довольна. Я едва не рассмеялась, и это было страшнее, чем если бы я заплакала.

И вдруг зал ожил. Не люстры вспыхнули ярче: просто среди картона появился человек, которому я верила. Оркестр перестал быть шумом и снова стал музыкой. Лимонад оказался кислым, как настоящий лимонад. Я поймала себя на том, что мне хочется есть, смеяться и дышать глубже, чем позволял корсет. Вот что он делал со мной: рядом с ним мир обретал вкус. Больше я ничего не просила у этого вечера.

Заиграли мазурку. В одной из её фигур дама выбирает кавалера сама, и это оказалось единственным правом, которое оставила мне моя сделка. Маменька беседовала с генеральшей, барон ушёл за лимонадом. Я пересекла паркет, остановилась перед Владимиром и раскрыла веер.

— Вы позволите, сударь?

Он понял всё сразу: что это риск, что я выбрала его сама и что на нас смотрят сто пар глаз. Подал руку так, будто мы были едва знакомы.

— Говорят, оттепели в этом году опасны, — произнёс он, ведя меня по кругу и глядя поверх моей головы. — Всё тает, и неизвестно, что останется.

— Серебро не любит, когда его торопят, сударь, — ответила я, улыбаясь так, будто мы обсуждали погоду.

Его рука в белой перчатке на мгновение сжала мою. Большой палец, не нарушая рисунка танца, лёг на внутреннюю сторону моего запястья, туда, где под тонкой лайкой билась жилка, и замер. Я сбилась с шага, он подхватил меня так естественно, что никто ничего не заметил, а на повороте его дыхание коснулось моего виска. Сквозь тугой корсет мне показалось, что я слышу собственное сердце. Больше мы не сказали ни слова. На третьем повороте он едва коснулся моего веера, и пластины щёлкнули трижды, как пробирка о штатив.

Когда музыка смолкла, он поклонился мне церемонно и холодно, как чужой. Маменька встретила меня тяжёлым взглядом.

— Ты выбрала самого молодого офицера в зале, Наталья.

— Он единственный, кто не рассказывал мне о борзых, маменька.

Она промолчала, и это была моя маленькая победа. В котильоне сюрприз княгини наконец раскрылся: люстры погасили, и под потолок взлетели сотни бумажных фонариков, так что зала наполнилась тёплым медовым светом. Дамы ахнули, барон захлопал, как мальчишка. Я смотрела не на фонарики. В карете по дороге домой я впервые почувствовала, сколько стоит

двойная жизнь: ни одно из двух моих лиц не принадлежало мне целиком. А через неделю в Петербурге перестали играть музыку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.